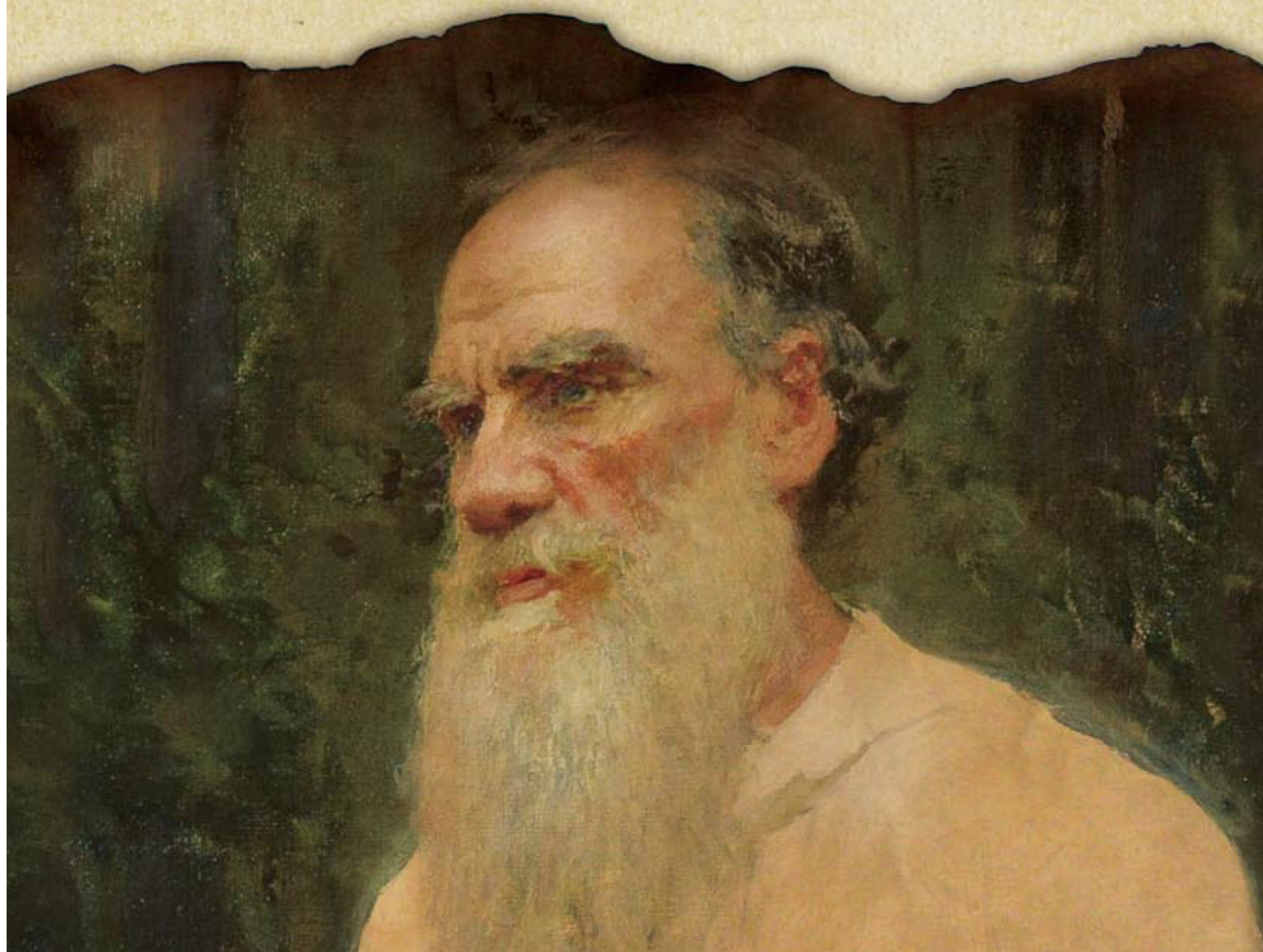


Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ

Если буду

ЖИВ или Лев Толстой

в пространстве
медицины



Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы

Владимир Порудоминский
**Если буду жив, или Лев Толстой
в пространстве медицины**

«Алетейя»

2012

УДК 82-94

ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8 Толстой Л. Н.

Порудоминский В. И.

Если буду жив, или Лев Толстой в пространстве медицины /
В. И. Порудоминский — «Алетейя», 2012 — (Русское зарубежье.
Коллекция поэзии и прозы)

ISBN 978-5-91419-656-8

Это книга писателя-биографа – не врача, книга не столько о медицине – о всей жизни Льва Толстого, от рождения «в Ясной Поляне на кожаном диване» до последних минут на прежде мало кому ведомой железнодорожной станции, по прибытии на которую, он, всемирно известный, объявил себя «пассажиром поезда № 12». Книга о счастливых и горестных днях его жизни, о его работе, духовных исканиях, любви, семье... И – о медицине. В литературном творчестве, в глубоких раздумьях о мире в себе и мире вокруг, в повседневной жизни Лев Толстой проницательно исследовал неперенные, подчас весьма сложные связи духовного и телесного начала в каждом человеке. Обгоняя представления своего времени, он никогда не отторгал одно от другого, наоборот, постоянно искал новые и новые сопряжения «диалектики души» и «диалектики тела». Его слова «Лечим симптомы болезни, и это главное препятствие лечению самой болезни» – это слова сегодняшней медицины, психологии, социологии, философии. Отношение Толстого к медицине, нередко насмешливо критическое, жесткое, можно вполне понять и оценить, лишь учитывая всю систему его взглядов. Художник Крамской, создавший первый живописный портрет Льва Толстого, говорил, что никогда прежде не встречал человека, «у которого все детальные суждения соединены с общими положениями, как радиусы с центром». Читателю предстоит как бы заново познакомиться с биографией Толстого, по-новому увидеть многое в ней, что казалось хорошо известным.

УДК 82-94

ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8 Толстой Л. Н.

ISBN 978-5-91419-656-8

© Порудоминский В. И., 2012

© Алетейя, 2012

Содержание

Предисловие к первому изданию	7
Часть стройного целого	9
Наброски портрета	11
Глава 1	11
Глава 2	22
Глава 3	27
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Владимир Порудоминский

Если буду жив, или Лев Толстой

в пространстве медицины

«Часто приходит в голову: всё ничего, всё еще просто и не страшно сравнительно, пока жив Лев Николаевич Толстой. Ведь гений одним бытием своим как бы указывает, что есть какие-то твердые, гранитные устои: точно на плечах своих держит и радостью своей питает всю страну и свой народ».

Александр Блок

«Человек текуч...»

Лев Толстой

© В. Порудоминский, 2012

© А. Вейн, 2012

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2012

Предисловие к первому изданию

В этой книге есть два ключевых слова: «*Лев Толстой*» и «*Медицина*». А главным среди этих двух слов является «*Лев Николаевич Толстой*». Нельзя прожить жизнь, не сталкиваясь с медициной. Болезни приводят людей к врачам. Так, конечно, было и в жизни Льва Толстого. Однако по своей неукротимой манере обдумать и уяснить все, что его окружает, он достаточно часто рассуждал о врачевании, пытался понять сущность болезней. При этом обычно он говорил о вещах, неясных для медицины его времени.

Лев Николаевич пытался понять связь между душой и телом, что во все времена существования медицины является главной проблемой. «*В здоровом теле – здоровый дух*» – гласит изречение. Но есть и другая сторона медали. Здоровый дух – основа здоровья тела. Второе было ближе Льву Николаевичу. Наблюдая замечательных врачей, общаясь со своими семейными врачами последние годы жизни, не раз и дружески относясь к знаменитому врачу Г.А. Захарьину, обсуждая проблемы с нобелевским лауреатом Ильей Мечниковым, он видел их особую сосредоточенность на болезнях отдельных органов и систем, не улавливая при этом общих тенденций и состояния.

По существу, ему не хватало того, что пришло через какое-то время в медицинские представления и в России определяется словом «*нервизм*», а также сейчас как «*психосоматическая медицина*». Очевидна для современной медицины роль нервной системы и психики в течении любого заболевания. Можно утверждать, что Лев Николаевич был стихийным психосоматиком, заменяя конкретное представление нервизма определенными религиозными построениями. Интуитивно чувствуя существование общих закономерностей течения болезни, он с определенной иронией, а иногда и раздражением высказывался о врачах своего времени.

История нашего движения к этой книге охватывает долгие годы. И в ней как бы два направления. Первое, как всегда, Лев Толстой. Скорее всего, он пришел к нам, как и положено, в школьные годы. Хочется добрым словом вспомнить нашего замечательного учителя литературы Евгению Васильевну Каченовскую. Мы издавали свой литературный журнал. Литература была для нас не обязательным предметом изучения, а страной, по которой мы с восторгом путешествовали. Писательский масштаб Толстого был очевиден. А затем в течение жизни открывались и другие его черты. Этот самый яркий русский гений был всемирным человеком.

С одинаковой естественностью он обращался к Богу, миру, царю, священному синоду и простым крестьянам, с которыми, как и со всем миром, он находил нужные слова, был естественен и внутренне прост. Любимый Владимиром Ильичом Порудоминским и мной Борис Леонидович Пастернак называл место пребывания Льва Толстого «*территорией совести*». Мне кажется иногда, что Ясная Поляна была независимым государством, что-то вроде Ватикана в Риме. И в ней жил человек, пытавшийся понять всю сложность окружающего мира и делавший героические попытки его улучшить.

Постоянная внутренняя обеспокоенность, отзывчивость, соединенная с подчас беспощадной и не всегда справедливой оценкой самого себя.

Владимир Ильич постепенно и по-своему шел к Толстому через замечательные книги, написанные им о выдающихся деятелях 19 века. Они посвящены Гаршину, Пирогову, Далю, Крамскому, Брюллову, Ге, Ярошенко, Афанасьеву. Вместе с Эйдельманом он пишет «*Болдинскую осень*», где рассказывается о счастливых днях подъема Пушкинского духа, завершившегося замечательным результатом.

Постепенно, интересы Владимира Ильича все больше сосредоточивались на Льве Толстом. Прежде чем подробнее сказать об этом, подумаем, как появилась и стала доминирующей в книге тема медицины. Во-первых, мы родились в доме, в котором жило сто врачей. Это была среда нашего детства. А затем моя профессия, наши долгие и постоянные разговоры,

в которых Владимир Ильич купал меня в море литературы, а я, со своей стороны, рассказывал о проблемах медицины, главным образом о неврологии, о возможностях и деятельности органа нашей души – головного мозга. Неслучайно Владимир Ильич писал книги о легендарном хирурге Николае Ивановиче Пирогове, о враче Владимире Ивановиче Дале, о душевных и медицинских проблемах своих героев. Мои многолетние исследования сна привели к интересным специальным работам Владимира Ильича, посвященным толстовским представлениям о сне. Наши обсуждения проблем психологии, в частности, теста Люшера, когда по предпочтению человек выбирает определенный цвет и на основе этого делается заключение о его эмоциональном состоянии, привели к тому, что Владимир Ильич продлевает гигантскую работу, анализируя выбор цвета Толстым в различных его произведениях, пишет книгу «Цветá Толстого», которую, будучи совсем небогатым человеком, он издает за свой счет и рассылает русистам, работающим в различных университетах мира.

Мечтали мы и о книге, которую условно для себя называли *«интегративное литературоведение»*, в которой хотели обсудить параллельно текущие литературную деятельность и самочувствие Льва Николаевича в эти периоды. В его дневниках имеются практически ежедневные указания на самочувствие, сон, настроение, другие колебания психики. Уже невооруженным глазом было видно, что общее самочувствие Льва Николаевича лучше, когда он в активной трудной работе и все в ней ладится. И, наоборот, в перерывах между крупными работами, в раздумьях о будущих планах (представьте себе состояние писателя, завершившего роман «Война и мир») обострялись и проявлялись многие недуги, которые не были опасными, но приносили ему душевные страдания. Такую книгу написать не удалось. Может быть, кто-то когда-то пройдет по нашим следам и соединит рассказ о литературной работе своих героев с описанием состояния их душевного равновесия или его нарушения. И все же родилась книга о Толстом и медицине, и только для нас ясна история, которая к ней привела и продолжалась в течение всей нашей жизни в постоянных дискуссиях, обсуждении планов, мечтаниях...

Самое тяжелое испытание для здоровья Толстого произошло в 1901(2) году, когда он перенес тяжелую пневмонию и был вынужден потом долгое время лечиться в Крыму. В эти же годы появились состояния, которые сейчас можно оценивать как проявления недостаточности мозгового кровообращения. Это обморочные припадки, слабость, временная потеря ориентировки в окружающем, отсутствие воспоминаний об этих приступах. Конечно, в этих случаях использовались имевшиеся тогда способы лечения. Они могут вызвать сейчас некоторую иронию, но и с современными средствами, воздействующими на мозговое кровообращение, такие феномены остаются достаточно частыми.

Естественный вопрос – это последняя болезнь Толстого. Наверное, применение современных антибиотиков помогло бы спасти Льва Николаевича. Однако следует помнить, он ушел из своего царства Ясной Поляны, чтобы закончить жизнь в пути.

Предлагаемая книга – большая радость для Владимира Ильича и меня. Это как бы итог, плод многолетней дружбы, интеллектуально напряженной и душевно незамутненной.

Книга начинается с того, что Толстой любил считать и анализировать цифры. Вот и закончим ее несколькими простыми числами. Мы оба родились через 100 лет после рождения Толстого, нам, каждому, – 75 лет. В этом году будет праздноваться 175 лет со дня рождения Льва Николаевича. Такие простые числа. Так случилось, что книга завершена к этому юбилею. И нам очень хочется, чтобы она не потерялась и нашла своего читателя.

Апрель 2003 года

Академик РАН, заслуженный деятель науки, профессор А.М. Вейн

Часть стройного целого

Мы привычно повторяем, что Лев Николаевич Толстой не любил медицину и докторов. Его суждения, насмешливые и сердитые, исполненные недоверия, порой сурового осуждения, встречаем на страницах его сочинений, в дневниках и письмах, в занесенных на бумагу свидетельствах современников.

Люди, которые *«отрицают медицину»*, не верят врачам, иронически, а то и попросту недоброжелательно относятся к их выводам и советам (и при этом постоянно к ним обращаются, как и сам Лев Николаевич) встречаются достаточно часто. И если бы речь шла не о Льве Толстом, можно было бы посмеиваться над слабостями (пусть даже великого) человека, возмущаться резкими, подчас несправедливыми высказываниями, в недоумении пожимать плечами, но, в общем, не придавать им серьезного значения.

Лев Толстой – совсем другое дело.

Художник Иван Николаевич Крамской, создавший первый живописный портрет Толстого, с прозорливостью опытного, проницательного портретиста, раньше многих современников почувствовал гениальность его: не гениальность Толстого-писателя – гениальность человека, который по-своему преображает все, к чему прикасается в окружающем его мире. В письме к самому Толстому живописец рассказывает, что был поражен его *«умом и мирозерцанием совершенно самостоятельным и оригинальным»*, что впервые в жизни (возможно, следует понимать – раз в жизни) встретил человека, *«у которого все детальные суждения крепко связаны с общими положениями, как радиусы с центром»*.

Высказывания Толстого о медицине, часто удивляющие очевидной неправотой и незаслуженной жесткостью, вряд ли требуют серьезного размышления, простого внимания даже, если всякий раз не делать попытку пробиться *«по радиусу»* к центру, связать детальное суждение со всей системой толстовского мировоззрения. Внимательный взгляд и в кажущихся непоследовательностях Толстого обнаруживает свою логическую последовательность.

Переводчик и биограф Толстого, английский литератор Эльмер Моод, долгие годы проживший в России, неоднократно встречавшийся с Львом Николаевичем и о многом с ним беседовавший, пишет: *«Никогда нельзя было предугадать, что он скажет, ибо даже на вещи, мне хорошо известные, его взгляды часто являлись для меня неожиданностью: но уж если он говорил, то обычно было легко понять, почему он думает так, а не иначе. Литература, искусство, наука, политика, экономика, социальные проблемы, отношения полов и местные новости рассматривались им не в отрыве одного от другого, как это сплошь и рядом бывает, а как части одного стройного целого»*.

Именно так, в связи с духовными и физическими особенностями личности Толстого, с событиями его жизненного пути, его взглядами и мировоззрением, поисками смысла жизни, его нравственными идеалами пытаемся мы уяснить его отношения с медициной, к медицине. И, соответственно, поскольку все у него, по собственному слову, круто завязано одно с другим, медицинская сторона его внутренней и внешней жизни поможет нам несколько по-новому взглянуть на личность писателя, глубже понять его поиски, идеалы, иначе, нежели прежде, прочитать некоторые страницы его сочинений, в которых, как сможем убедиться, медицине отведено много больше места, чем представляется на первый взгляд.

* * *

Автор книги не медик – профессиональный писатель-биограф, немало лет посвятивший изучению жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. Предлагаемая книга не меди-

цинская биография Толстого, какой она, наверно, получилась бы, возмись за нее специалист-медик, а, скорее, *портрет в пространстве медицины*. На некоторые относящиеся к медицине вопросы автор ищет и находит ответы вместе с Толстым. Некоторые же вопросы лишь ставит в надежде поискать на них ответ вместе с читателями – специалистами и неспециалистами, теми, кто интересуется жизнью и личностью Толстого, и теми, кто, подобно ему, не в силах не задаваться вопросами «*Зачем я живу?*» и «*Как мне жить?*».

В обширнейшей толстовиане, библиографии работ о Л.Н. Толстом, найдем также известное количество статей и исследований, посвященных взаимоотношениям Толстого с медициной. Материалы носят в основном частный характер: освещают и пополняют отдельные страницы биографии Льва Николаевича, рассматривают некоторые его суждения о нравственной и практической стороне врачебной науки, расширяют и уточняют круг его общений в медицинской среде. В числе авторов есть усердно и преданно потрудившиеся на поприще толстоведения врачи – прежде всего необходимо назвать имена навсегда покинувших нас Григория Андреевича Кулижникова и Бориса Сергеевича Свадковского. Увидевший свет уже во время работы над этой книгой, труд доктора Г.А.Кулижникова «Л.Н. Толстой и медицина», – хронологический свод многих высказываний по медицинским вопросам самого Льва Николаевича, его близких, знакомых ему врачей – не мог не стать для нас существенным подспорьем.

* * *

Эта книга никогда не была бы создана без постоянного внимания и дружеской поддержки крупнейшего отечественного невролога, академика Российской академии медицинских наук, профессора Александра Моисеевича Вейна (1928–2003).

Ученый-новатор с мировым именем, многоопытный, чуткий врач, Александр Моисеевич был страстным и пристрастным любителем и знатоком художественной литературы. Лев Толстой – его пожизненная любовь и вместе великий учитель, в постоянном общении с которым он вырабатывал и сверял свои взгляды на жизнь, свои нравственные убеждения, сокровенные помыслы.

Сказать, что нас с Александром Моисеевичем связывали долгие годы дружбы было бы неверно: нас связывает дружба *всей жизни*. Александра Моисеевича нет, но я живу, и дружба продолжается. Мы родились в один год, под одной крышей, наши родители тоже дружили с незапамятных времен. Мы жили в одном доме и встречались почти ежедневно. Нам всегда не хватало друг друга. Мы редко скрывали что-нибудь один от другого, да и то – до поры. Мы знали друг о друге то «*почти всё*», что вообще один человек способен знать о другом. Каждый из нас был серьезно и подробно осведомлен о профессиональных трудах другого. Александр Моисеевич проницательно вникал в мои литературные занятия, с терпением вдохновенного педагога (каким ему определено было быть) посвящал меня в суть своих научных исканий. Мы много спорили, но не ссорились. Мы радовались согласию, но дорожили не только собственным мнением, но и собственным мнением другого. Нам не требовались долгие объяснения – мы понимали друг друга с полуслова, если вообще требовались слова. У нас была *осердеченная дружба*. Мы ценили ее уникальность как дар Судьбы.

В долгих беседах с Александром Моисеевичем складывался замысел этой книги, определялись ее идеи, темы, сюжеты, уточнялись подробности. Мы предполагали, что Александр Моисеевич приложит к ее основному тексту подробный комментарий ученого, который, собственно, тоже станет *основным текстом*. Мы мечтали однажды оказаться мало что друзьями, еще и соавторами. Александр Моисеевич успел прочитать написанное мною и поторопился продиктовать предисловие.

Мне осталась на долю трудная радость посвятить книгу памяти Александра Моисеевича Вейна.

Наброски портрета

«Лев Толстой был самым сложным человеком среди всех крупнейших людей столетия»
Максим Горький

Глава 1 Непостижимое

Время

Лев Николаевич Толстой родился 28 августа 1828 года. Число «28» он считал для себя счастливым: «Я родился в 28-м году, 28 числа и всю мою жизнь 28 было для меня самым счастливым числом... И в математике «28» – особое совершенное число, которое равно сумме всех чисел, на которые оно может делиться. Это очень редкое свойство».

Однажды в беседе признается: «Мне приятно играть цепочкой часов и наворачивать ее 28 раз... Я рожден 28 года 28 числа».

28 октября 1910 года Толстой навсегда уйдет из дома, из Ясной Поляны. Через десять дней он уйдет и из самой жизни – на неведомой прежде железнодорожной станции, в чужом доме, на чужой кровати.

Молодой Борис Пастернак с отцом, художником, иллюстрировавшим сочинения Льва Николаевича и много рисовавшим его самого, приедет на эту станцию, чтобы участвовать в похоронах, и позже напишет об этом: «Было как-то естественно, что Толстой упокоился, упокоился у дороги, как странник, близ проездных путей тогдашней России, по которым продолжали пролетать и круговращаться его герои и героини и смотрели в вагонные окна на ничтожную мимолежащую станцию, не зная, что глаза, которые всю жизнь на них смотрели и обняли их взором, и увековечили, навсегда на ней закрылись».

Толстой проживет на свете 82 года – тоже «2» и «8», но в обратной последовательности. Число уже не совершенное...

Место

Лев Николаевич, по собственным его словам, родился «в Ясной Поляне, на кожаном диване».

Жизнь Толстого немыслима без Ясной Поляны ни для него, ни для нас. Он говорил, что без своей Ясной Поляны ему трудно себе представить Россию и свое отношение к ней.

«Ясная Поляна! Кто дал тебе твое красивое имя? Кто первый облюбывал этот дивный уголок и кто первый любовно освятил его своим трудом? И когда это было? – гимном родовому гнезду начинает свои воспоминания сын писателя, Илья Львович. – Да, ты действительно ясная – лучезарная. Окаймленная с востока, севера и заката дремучими лесами Козловой засеки, ты целыми днями смотришься на солнце и упиваешься им... Пусть бывали дни, когда солнца не было видно, пусть бывали туманы, грозы и бури, но в моем представлении ты останешься навсегда ясной, солнечной и даже сказочной».

Толстой неохотно покидал Ясную Поляну, уезжая, тосковал по ней и радовался каждой новой встрече. Ясная Поляна была для него своего рода «чистилищем» – нигде более так не

удавалась ему та важная внутренняя работа, которую он называл «чисткой души»: «Я только, приехавши в Ясную, могу разобраться сам с собой и откинуть все лишнее».

О своем физическом ощущении, когда после отлучек возвращался в Ясную, он говорил: «Я точно свою старую одежду надел». В «Войне и мире» он напишет о Пьере, который любил жить в Москве; оказываясь там, он чувствовал себя покойно, тепло и привычно, как в старом халате.

Дом, где родился будущий писатель, не уцелел. В молодости, испытывая нужду в деньгах, Толстой продал его на своз. После жалел об этом. Многие годы спустя, незадолго до семидесятилетия, он посетил имение, куда перевезли купленный у него дом, чтобы еще раз взглянуть на стены, в которых прошло начало жизни. Занес в дневник: «Очень умиленное впечатление от развалившегося дома. Рой воспоминаний».

Кожанный диван, о котором упоминает Толстой, сохранился по сей день. На этом же диване родились три старших брата Льва Николаевича, его единственная сестра и собственные его дети, во всяком случае, старшие. По заветной семейной традиции, когда наступала пора, диван приносили в комнату роженицы.

Вот и в «Войне и мире» перед тем, как рожать маленькой княгине, жене Андрея Болконского, его сестра, княжна Марья, «из своей комнаты услышала, что несут что-то тяжелое. Она выглянула – официанты несли для чего-то в спальню кожаный диван, стоявший в кабинете князя Андрея. На лицах несших людей было что-то торжественное и тихое».

Устремленное внутрь себя внимание

У Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых было тринадцать детей. (Пятеро умерли в раннем возрасте. Последний ребенок, Ванечка, – когда он родился, Льву Николаевичу уже шестьдесят, – дожил только до семи лет.)

Тринадцать раз Толстой близко наблюдал беременность жены, по-своему пережил вместе с ней трудные, тревожные и счастливые часы родов.

В «Анне Карениной» читаем про Кити, что среди общего нетерпения и беспокойства из-за ее беременности она одна чувствовала себя совершенно спокойною и счастливою: «Она теперь ясно сознавала зарождение в себе нового чувства любви к будущему, отчасти для нее уже настоящему ребенку и с наслаждением прислушивалась к этому чувству... Все были так добры к ней, так ухаживали за нею, так одно приятное во всем представлялось ей, что если б она не знала и не чувствовала, что это должно скоро кончиться, она бы и не желала лучшей и приятнейшей жизни». Когда читаем такое, ясно сознаем, чувствуем, что знаменитую «диалектику души», которую неповторимо передает Толстой, питает проникновенная памятливая наблюдательность.

В «Войне и мире» – несколько строк беседы маленькой княгини с княжной Марьей:

«– Marie, – сказала она, отстраняясь от пялец и переваливаясь назад, – дай сюда твою руку. – Она взяла руку княжны и положила ее себе на живот.

Глаза ее улыбались, ожидая, губка с усиками поднялась и детски-счастливо осталась поднятой...

– Вот, вот – слышишь? Мне так странно. И знаешь, Мари, я очень буду любить его, – сказала Лиза, блестящими, счастливыми глазами глядя на золовку...

Она посмотрела на княжну Марью, потом задумалась с тем выражением глаз устремленного внутрь себя внимания, которое бывает у беременных женщин, и вдруг заплакала».

Такое не сочиняется. Это надо увидеть, прочувствовать, уяснить, переплавить в образ и слово.

О своих первых родах Софья Андреевна вспомнит много позже в автобиографии «Моя жизнь». И многое из того, что она расскажет, творчески усвоенное и заново воссозданное,

мы уже встречали на страницах «Анны Карениной», посвященных первым родам Кити. Но в романе происходящее дается прежде всего через восприятие Левина. Когда писатель рассказывает о родах, увиденных внешним и внутренним взором своего героя, «устремленное внутрь себя внимание» открывает ему впечатления, которые хранятся в душе и памяти.

Как бывает перед сражением

Своего рода «конспект» описания первых родов, которое появится позже в его романах, запись о том, как они пережиты им самим, находим в дневнике Льва Николаевича 5 августа 1863 года. «Конспект» не окончен: волнение так сильно, что даже через месяц с лишним после рождения первенца у него недостает сил занести свои впечатления на бумагу.

«Я пишу теперь не для себя одного, как прежде, не для нас двух, как недавно, а для него <т. е. еще для сына, Сергея. – Здесь и далее пометки в угловых скобках сделаны мною, курсив всюду тоже мой. Курсив Л.Н. Толстого и авторов приведенных высказываний оговорен особо. – В.П.> 27 июня, ночью, мы оба были особенно взволнованы. У нее болел живот, она металась, мы думали только, что это последствия ягод. Утром ей стало хуже, в 5 часов мы проснулись... Она была разгорячена, в халате и вскрикивала, потом проходило, и она улыбалась и говорила: ничего... Я был взволнован и спокоен, занят мелочами, как бывает перед сражением или в минуту близкой смерти. Мне досадно было за себя, что я мало чувствую. Мне хотелось ехать в Тулу и все сделать поаккуратнее... В Туле мне странно было, что Копылов <тульский знакомый> хочет, как всегда, говорить о политике, аптекари запечатывают коробочки. Мы поехали с Марьей Ивановной (акушерка Сережи)... Я вошел. Милая, как она была серьезно, честно, трогательно и сильно хороша. Она была в халате распахнутом, кофточка с прошивками, черные волосы спутаны, – разгоряченное, шероховато-красное лицо, горящие большие глаза, она ходила, посмотрела на меня. Привез? Да. Что? Ужасно сильные схватки... Она просто, спокойно поцеловала меня. Пока копошились, с ней сделалась еще. Она схватилась за меня. Как и утром, я целовал ее, но она про меня не думала, и серьезное, строгое было в ней. Марья Ивановна ушла с ней в спальню и вышла, роды начались, сказала она тихо, торжественно и с скрываемой радостью, какая бывает у бенефицианта, когда занавес поднялся. Она все ходила, она хлопотала около шкапов, приготовляла себе, приседала, и глаза все горели спокойно и торжественно. Было еще несколько схваток, и всякий раз я держал ее и чувствовал, как тело ее дрожало, вытягивалось и ужималось; и впечатление ее тела на меня было совсем, совсем другое, чем прежде и до и во время замужества. В промежутках я бегал, хлопотал уставлять диван, на котором я родился, в ее комнату и др., и во мне было все то же чувство равнодушия, укоризны за него и раздражения. Все хотелось поскорей, побольше и получше обдумать и сделать. Ее положили, она сама придумывала... (Я не dokonчил этого и не могу писать дальше о настоящем мучительном.)».

Софья Андреевна в «Моей жизни» вспомнит характерную неопытность юной матери, не умеющей определить начало: «В ночь с 26 на 27 июня я почувствовала себя нездоровой, но, встретившись с сестрой Таней, у которой болел живот, и сказав ей и о моей боли, мы обе решили, что мы съели слишком много ягод и расстроили себе желудки. Мы болтали и смеялись с ней, но боли ее утихли, а мои стали обостряться. Я разбудила Льва Николаевича и послала его позвать Марию Ивановну...»

(Сам Сергей Львович, первенец, рассказывает: «Когда начались роды, отец говорил матери: «Душенька, подожди до полуночи». Ему хотелось, чтобы его старший сын родился 28-го... Природа исполнила его желание, и я родился после полуночи.»)

Глава о родах в «Анне Карениной» начинается с того же наивного неумения Кити постигнуть, что происходит с ней, с ее нежелания будить крепко уснувшего мужа.

«В пять часов скрип отворенной двери разбудил его. Он вскочил и оглянулся. Кити не было на постели подле него. Но за перегородкой был движущийся свет, и он слышал ее шаги.

– Что?.. что? – проговорил он спросонья. – Кити! Что?

– ...Ничего. Мне нездоровилось, – сказала она, улыбаясь...

– Что? началось, началось? – испуганно проговорил он.

– Надо послать, – и он торопливо стал одеваться.

– Нет, нет, – сказала она, улыбаясь и удерживая его рукой. – Наверное, ничего. Мне нездоровилось только немного. Но теперь прошло.

И она, подойдя к кровати, потушила свечу, легла и затихла. Хотя ему и подозрительна была тишина ее как будто сдерживаемого дыхания... ему так хотелось спать, что он сейчас же заснул. Только уж потом он вспомнил тишину ее дыхания и понял все, что происходило в ее дорогой милой душе в то время, как она, не шевелясь, в ожидании величайшего события в жизни женщины, лежала подле него. В семь часов его разбудило прикосновение ее руки к плечу и тихий шепот. Она как будто боролась между жалостью разбудить его и желанием говорить с ним.

– Костя, не пугайся. Ничего. Но кажется... Надо послать за Лизаветой Петровной»...

(«Я разбудила Льва Николаевича и послала его позвать Марью Ивановну».)

Про акушерку Марью Ивановну Абрамович читаем в автобиографии Софьи Андреевны: «Марья Ивановна принимала всех моих детей, кроме одного, к которому не успела... Она была моей помощницей 25 лет, так как между первым моим сыном Сережей, родившимся в 1863 году, и последним, Ванечкой, родившимся в 1888 году, было 25 лет разницы. Маленькая, белокурая, с маленькими ловкими руками, Марья Ивановна была умная, внимательная и сердечная женщина. Как умильно ласково она обращалась тогда со мной, считая меня ребенком и как-то по-матерински любясь мной».

В «Анне Карениной» коротко, но выразительно действует акушерка Лизавета Петровна с «маленьким белокурым лицом», «сияющим и озабоченным». В «Войне и мире» акушерка именуется Марьей Богдановной.

При родах в том и в другом романе появляется врач. В «Войне и мире» – немец-доктор, выписанный старым князем Болконским в имение из Москвы. В «Анне Карениной» доктора привозит Левин.

В Ясную Поляну к родам Софьи Андреевны вызывают (привозят) доктора Сигизмунда Адамовича Шмигаро, главного врача Тульского оружейного завода.

Непостижимое

Марья Ивановна, – продолжает Софья Андреевна рассказ о первых родах, – «серьезно и озабоченно всю меня осмотрела и, выйдя в соседнюю комнату, торжественно объявила Льву Николаевичу: «Роды начались». Это было в 4 часа утра, 27-го <июня 1863 года> Июньские ночи были совсем светлые, солнце уже взошло, было жарко и весело в природе».

В «Войне и мире»:

«– Доложи князю, что роды начались, – сказала Марья Богдановна, значительно посмотрев на посланного».

И следом:

«Таинство, торжественнейшее в мире, продолжало совершаться... И чувство ожидания и смягчения сердечного перед непостижимым не падало, а возвышалось. Никто не спал».

«Страдания продолжались весь день, они были ужасны, – вспоминает Софья Андреевна. – Левочка все время был со мной, я видела, что ему очень жаль меня, он так был ласков, слезы блестели в его глазах, он обтирал платком и одеколоном мой лоб, я вся была в поту от жары и страданий, и волосы липли на моих висках; он целовал меня и мои руки, из которых

я не выпускала его рук, то ломая их от невыносимых страданий, то целуя их, чтобы доказать ему свою нежность и отсутствие всяких упреков за эти страдания».

В романе «потерявший сознание времени» Левин стоит у изголовья жены. Временами его просят о чем-то, и он совершает какие-то механические действия – приносит, передвигает что-то, беседует с доктором в соседней со спальней комнате. Но:

«Вдруг раздался крик, ни на что не похожий. Крик был так страшен, что Левин даже не вскочил, но, не переводя дыхание, испуганно-вопросительно посмотрел на доктора. Доктор склонил голову набок, прислушиваясь, и одобрительно улыбнулся. Все было так необыкновенно, что уж ничто не поражало Левина... Он вскочил, на цыпочках вбежал в спальню... и встал на свое место у изголовья. Крик затих, но что-то переменялось теперь. Что – он не видел и не понимал и не хотел видеть и понимать. Но он видел это по лицу Лизаветы Петровны: лицо Лизаветы Петровны было строго и бледно и все так же решительно, хотя челюсти ее немного подрагивали и глаза ее были пристально устремлены на Кити. Воспаленное, измученное лицо Кити с прилипшею к потному лицу прядью волос было обращено к нему и искало его взгляда. Схватив потными руками его холодные руки, она стала прижимать их к своему лицу...

– Не уходи, не уходи! Я не боюсь, я не боюсь! – быстро говорила она. – ...Ты не боишься? Скоро, скоро, Лизавета Петровна...

Она говорила быстро, быстро и хотела улыбнуться. Но вдруг лицо ее исказилось, она оттолкнула его от себя.

– Нет, это ужасно! Я умру, умру! Поди, поди! – закричала она, и опять послышался тот же ни на что не похожий крик...

Из «Моей жизни» Софьи Андреевны Толстой: «Зловещая тишина была в минуту рождения ребенка. Я видела ужас в лице Льва Николаевича и страшное суетливое волнение и возню с младенцем Марьи Ивановны. Она брызгала ему водою в лицо, шлепала рукою по его тельцу, переворачивала его, и наконец он стал пищать все громче и громче и закричал».

В «Анне Карениной»:

«И вдруг из того таинственного и ужасного, нездешнего мира, в котором он жил эти двадцать два часа *<ровно столько продолжались и первые роды Софьи Андреевны>*, Левин мгновенно почувствовал себя перенесенным в прежний, обычный мир, но сияющий теперь таким новым светом счастья, что он не перенес его. Натянутые струны все сорвались. Рыдания и слезы радости, которых он никак не предвидел, с такою силой поднялись в нем, колебля все его тело, что долго мешали ему говорить.

Упав на колени пред постелью, он держал пред губами руку жены и целовал ее, и рука эта слабым движением пальцев отвечала на его поцелуи. А между тем там, в ногах постели, в ловких руках Лизаветы Петровны, как огонек над светильником, колебалась жизнь человеческого существа, которого никогда прежде не было и которое так же, с тем же правом, с той же значительностью для себя, будет жить и плодить себе подобных».

В избе

Уезжая на войну и оставляя беременную жену на попечение отца, князь Андрей просит: когда настанет пора родить, послать в Москву за акушером. Старый князь, «как бы не понимая, устался строгими глазами на сына». В его время обходились повивальной бабкой. Покойная жена рожала дочь (княжну Марью), сопровождая князя в походе: при ней и повитухи не оказалось – помогала случившаяся под рукой крестьянская баба-молдаванка. Князь Андрей, смущенный, оправдывается: «Я знаю, что никто помочь не может, коли натура не поможет... Я согласен, что из миллиона случаев один бывает несчастный, но это ее и моя фантазия. Ей наговорили, она во сне видела, и она боится». Старая няня повторяет, тревожась: «Бог помилует, никакие дохтура не нужны».

В старости Лев Николаевич набрасывает однажды страницу текста и отложит его. Сочинение останется неоконченным, но работа, похоже, затевалась всерьез. Доктор Душан Петрович Маковицкий – друг и домашний врач Толстого, он живет в Ясной Поляне и ведет своеобразную летопись, заносая на бумагу все, что видит и слышит, – 8 сентября 1908 года помечает: «Лев Николаевич пишет что-то художественное. Просил Александру Львовну <младшая дочь писателя> позвать ему деревенскую бабку и священника, хочет расспросить о родах; меня утром расспрашивал про тяжелые роды».

Замысла Толстого не знаем. Но в том немногом, что успел доверить бумаге, открывается проникновенное понимание тягот крестьянской жизни и вместе мудрости жизни простого деревенского народа, в которой рождение и смерть – такая же естественная и значимая часть, как выращивание хлеба, восход и закат, смена времен года.

А за текстом – просматриваемая сквозь него – отвращавшая Толстого жизнь «высших сословий», не ведавшая ни этих тягот, ни этой мудрости. Появление на свет барских детей, даже собственных внуков, обеспеченное помощью дорогих докторов, акушеров, нянек, старый Толстой назовет в сердцах умножением числа дармоедов.

Этот лист, начерно заполненный Толстым, напечатан лишь в единственном полном 90-томном собрании сочинений писателя, где озаглавлен «Роженица» *<В настоящее время выпускается новое полное собрание сочинений Л.Н. Толстого в 100 томах>*.

Роженица

Это было 7 ноября 1897 года. В большом селе Рязанской губернии рожала уже немолодая женщина. Роды шли уже вторые сутки и были трудны, опасны. Вышла ручка, и дело не двигалось. Семья была из бедных. Муж, одинокий, работающий, но и выпивающий мужик, всё непомиращий дед на печи и четверо ребят: три девки и один малый, кроме того, кто шел ручкой. С вечера бабка Матвевна, проводшая весь день, ушла ночевать домой, и Марфа родильница была одна в избе. Старика увели к сватам, девки были на улице, муж Авдей пошел за бабкой и за попом.

«Аниска, а Аниска! О-о-х, смерть моя! О-о-х, Аниска, кур загони. Ономясь... <недавно, намедни> О-ох...» Дальше она не могла говорить и даже перестала охать, а только нахмурилась, сморщилась, как будто выжидая чего-то. Аниска, быстроглазая 8-летняя девочка, разинув ротик, неподвижными глазами смотрела на мать, быстро шевеля только ступнями ног в рваных башмаках. «Помирает мамушка», думала она. И она не слушала ее о курах, а думала о том, что надо делать, когда помирает мать. Мать же, невольно глядя на быстро шевелящиеся ноги, подумала о том, как после ее смерти ее новые башмаки останутся для Аниски.

– Отец не приходил?

– Не.

– Ну, ступай да смотри. О-ох.

В завтрак пришла бабка Матвевна. Отец, высокий белокурый мужик с больными глазами и спокойным добрым лицом, не вошел в избу и тотчас же взялся за дрова. Он вчера привез из лесу хворост, но не успел сложить. Взялся за работу с споростью и безостановочностью привычного рабочего. Только изредка, работая, он, прислушиваясь к стонам в избе, поднимал белые брови над слезящимися глазами и значительно поворачивал голову.

«Помрет, что станем делать. – Ну и поп!» – приходило ему в голову, вспоминая, как поп вперед торговал. «Где у них Бог».

– Ты чего мерзнешь, дура. Марфутка! Беги к деду в избу, – крикнул он на 5-летнюю девчонку.

А в избе было тихо. Родильница мучалась хуже и хуже и временами ослабевала. Но Матвевна не унывала и обнадеживала. «Ничего, умница, ничего. Всё бывало. Всё Бог. Его святая воля». – И она, раздевшись, то осматривала больную, то оправляла ей подложенную подушку, то давала ей напиться...

Право каждого ребенка

Осенью 1888 года Толстой получает от американского врача и писательницы Алисы Стокгэм книгу «Токология. Книга для всех женщин». Слово «токология» образовано от греческого «токос» – рождение. Автор ставила своей целью сообщить всем женщинам подробные сведения о рождении ребенка, а также о супружеских отношениях; при этом она смотрит на дело не только с медицинской, но и с общественной и нравственной точек зрения. Она, в частности, требует от общества создать необходимые условия для нормального появления ребенка на свет, но при этом неодобрительно относится к супружеским отношениям без желания и возможности иметь детей.

Толстой находит книгу превосходной и заботится о том, чтобы она была переведена на русский язык. Сам же берется за небольшое предисловие к ней.

Он пишет, что «Токология, или наука о рождении детей» – так названо русское издание книги – самая важная наука после науки о том, как жить и как умирать. Поэтому чтение книги не просто приносит новые знания, но «оставляет следы, заставляя изменять жизнь, исправлять то, что в ней неправильно, или по крайней мере, думать об этом».

И объясняет основную задачу автора: «Важно родителям знать, как вести себя, чтобы без излишних страданий производить неиспорченных и здоровых детей, и еще важнее самим детям будущим родиться в наилучших условиях, как и сказано в одном из эпиграфов этой книги: *to be well born is the right of every child* <быть хорошо рожденным – право каждого ребенка>».

Две тайны

В сентябре 1860 года на юге Франции умер от туберкулеза старший брат Толстого, Николай Николаевич, Николенька, человек замечательных, не выявленных в полной (да и не в полной) мере способностей, оцененных лишь теми, кто близко его знал. «Мало того, что это один из лучших людей, которых я встречал в жизни, что он был брат, что с ним связаны лучшие воспоминания моей жизни, – это был лучший мой друг», – пишет о нем Лев Николаевич. Два месяца не отходит он от брата, ухаживает за ним, «следит за его погасанием». Николенька умирает на его руках.

«Самое сильное впечатление моей жизни», – заносит Толстой в дневник: «Страшно оторвало меня от жизни это событие». Здесь не только сознание и скорбь потери. Еще и потрясение от впервые пережитого близкого и откровенного созерцания смерти. «Правду он <Николенька> говорил, что хуже смерти ничего нет. А как хорошенько подумать, что она все-таки конец всего, так и хуже жизни ничего нет».

Толстой ищет, откуда почерпнуть силу, где найти основание жить дальше. «Одно средство жить – работать. Чтобы работать, надо любить работу». Он усаживает себя за стол, пробует

писать. Без охоты дело идет туго, медленно. И вдруг – месяца через два – будто чудо какое-то: тоска, мысли о смерти, сомнения в смысле жизни – всё сметается вулканическим выбросом подспудно накопившейся творческой энергии: «Лет десять не было у меня такого богатства образов и мыслей, как эти три дня. Не пишу от изобилия».

Полутора десятилетиями позже в «Анне Карениной» Толстой отзовется на пережитое – расскажет о смерти брата Левина, тоже Николая. Перед нами ощутимо во всякой подробности разворачиваются последние дни и часы умирающего, как они воспринимаются им самим и каждым из тех, кто его окружает. Все главы в романе помечены римскими цифрами, лишь одна-единственная глава о кончине Николая Левина – неслучайно, конечно, – имеет название: «Смерть». И также неслучайно, конечно, глава, носящая название «Смерть», заканчивается благой вестью: внезапное нездоровье Кити, вместе с мужем ухаживавшей за умиравшим, оказывается беременностью. «Не успела на его глазах совершиться одна тайна смерти, оставшаяся неразгаданной, как возникла другая, столь же неразгаданная, вызывавшая к любви и жизни», – говорится о Левине.

До этого в «Войне и мире» – та же мысль о двух тайнах, не высказанная в слове, но воплощенная в образах. Маленькая княгиня оплачивает жизнью рождение сына. Князь Андрей из-за двери слышит один за другим два крика – последний крик жены и первый крик ребенка. «Через три дня отпевали маленькую княгиню, и, прощаясь с нею, князь Андрей взошел на ступени гроба... Еще через пять дней крестили молодого князя Николая Андреича... Князь Андрей, замирая от страха, чтоб не утопили ребенка, сидел в другой комнате, ожидая окончания таинства. Он радостно взглянул на ребенка, когда ему вынесла его нянюшка»...

Рождение Маши

Люди, хорошо знавшие Толстого, замечают сходство между ним и Левиным, героем «Анны Карениной» (в кругу близких писателя произносят «Лёвин» – от «Лёв Николаевич», как именуют его самого домашние, друзья). «Лёвочка, ты – Левин, но плюс талант», – шутит Софья Андреевна. Ей вторит Фет, уже серьезно: «Левин – это Лев Николаевич (не поэт)».

Но различие между тем, как спасается от мысли об «ужасном обмане» жизни перед лицом смерти Лев Николаевич и как это происходит с Левиным, не в одном поэтическом таланте первого. Различие еще и в том, что смерть Николая Толстого отделяют от смерти Николая Левина годы, на протяжении которых автор романа встретился не только с неразгаданной тайной смерти, но и со столь же неразгаданной тайной рождения, зовущей жить и любить жизнь. За эти годы Толстой становится семьянином – мужем и отцом. Когда «Анна Каренина», по слову писателя, «завязывается» в его воображении, у Толстых рождается пятый ребенок – дочь Мария, Маша.

Софья Андреевна будет вспоминать в «Моей жизни»:

«На другой день после родов у меня сделался сильнейший озноб и мне положили на ноги горячие бутылки. Плохо закупоренная одна бутылка вся пролилась, и от сырости, пока сменили белье и постель, я еще больше озябла. Вскоре открылся сильнейший жар и сделалась родильная горячка, продолжавшаяся месяц... Горячка была сильная, только мой здоровый организм мог вынести такую болезнь. Она была тогда эпидемична, и многие роженицы умерли от нее.

Помню смутно присутствие тетенек, моего дяди Константина Александровича Иславина и Дмитрия Алексеевича Дьякова <друг Толстого>. Все ждали моей смерти, и я в полусознании слышала, как дядя Костя, думая, что я без сознания и ничего не слышу, сказал: «Она наверное умрет».

Еще помню, как Дьяков взял мою руку и стал считать пульс. «Левочка, сорок четыре», – сказал он. Л.Н. вскочил и вскрикнул: «Не может быть!» Когда он сам счел, он взял вино, рейн-вейн, налил в рюмочку и поднес мне. Я испытывала такое блаженное чувство тишины, слабо-

сти и отсутствия всяких физических или моральных ощущений, что просила мужа оставить меня в покое и не давать мне ничего. Я говорила: «Мне так хорошо! так тихо, хорошо!»

Но Л.Н. чуть не со слезами умолял меня выпить вино, и я повиновалась. После этого я просила послать за священником и позвать ко мне детей. Все четверо маленьких детей пришли ко мне с испуганными личиками... Я перекрестила и поцеловала всех детей, и так была слаба, что мне даже не было их жалко. Потом приехал священник...

В «Анне Карениной» читаем описание тяжелой болезни Анны, тоже родившей девочку. Скорей всего, в романе переданы впечатления Толстого от послеродовой болезни жены. Хотя страницы романа, конечно, отличаются от картины, оставленной в воспоминаниях Софьи Андреевны.

Последнее оправдание

В одной из последующих глав романа нам доверено подслушать тайное признание Анны: после тяжелых родов она, по совету докторов, решает больше не иметь детей. Анна беседует с Дарьей Александровной, Долли, женой брата, терпеливо и покорно несущей тяготы многодетной семейной жизни. Признание Анны представляется Толстому столь ужасным, что он не решается передать его словами. «Мне доктор сказал после моей болезни...» – лишь произносит Анна, и затем Толстой ставит целую строку точек.

«– Не может быть! – широко открыв глаза, сказала Долли. Для нее это было одно из тех открытий, следствия и выводы которых так огромны, что в первую минуту только чувствуется, что сообразить всего нельзя, но что об этом много и много придется думать...

– Разве это не безнравственно? – только сказала она, помолчав».

В 1871 году (замысел «Анны Карениной» еще уясняется, уточняется) в семейной жизни Толстого, которая казалась счастливой и в самом деле приносила ему много радости, наступает тяжелый кризис. Не обычный «надрез» (так он именует размолвки и ссоры), пусть оставивший шрам в душе, в памяти, но заросший. То, что происходит в 1871-м, – а что происходит, во многом скрыто не только от нас, но даже от своих, – предвестие того разлада, который десять лет спустя из глубин семейных отношений, подчас не вполне сознаваемых, выплеснется наружу, навсегда непреодолимым рубежом рассечет их.

В дневнике 1871 года, Софья Андреевна коротко, со сдерживаемым отчаянием предугадывает будущее: «... Что-то пробежало между нами, какая-то тень, которая разъединила нас... Что-то переломилось в нашей жизни. Я знаю, что во мне переломилась та твердая вера в счастье и жизнь, которая была... Левочка... совсем не тот, какой был. Он говорит: «старость», я говорю: «болезнь». Но это что-то нас стало разъединять».

Лев Николаевич упомянет в дневнике о событиях 1871 года много позже, в 1884-м, когда домашняя жизнь уже мучает его разладом, «отсутствием любимой и любящей жены»: «Началось с той поры, 14 лет *назад*, как лопнула струна, и я сознал свое одиночество».

Главная причина перелома, разъединения, «лопнувшей струны» – углубившиеся в эту пору поиски Толстым ответа на вопрос «зачем я живу?» и «как мне жить?». Эти поиски не давали ему покоя, отъединяли его от общего семейного быта, дружных семейных забот, привычных радостей.

Но, похоже, была еще причина кризиса 1871 года.

Не вызывает сомнений чистосердечность дневниковый записи Софьи Андреевны. Только в ней – недоговорка. Может быть, конечно, Софья Андреевна не подозревает вполне, что творится в душе мужа, хотя при их тогдашней близости и всегдашней откровенности трудно такое предположить.

Николай Николаевич Гусев, секретарь Толстого (в 1907–1909 годах), его друг, а впоследствии внимательнейший исследователь жизни и творчества, вспоминает беседу Льва Николае-

вича с другим близким человеком, последователем и прижизненным биографом Павлом Ивановичем Бирюковым. Отвечая на вопрос о том, что произошло в 1871 году, Толстой рассказал:

«У меня на душе лежало большое сомнение: поводом которого было расстройство семейных отношений. Жена после тяжелой болезни, под влиянием советов докторов, отказалась иметь детей. Это обстоятельство так тяжело на меня подействовало, так перевернуло все мое понятие о семейной жизни, что я долго не мог решить, в каком виде она должна была продолжаться...»

(В «Анне Карениной» признание Анны вдруг объяснило Долли «все те непонятные для нее прежде семьи, в которых было только по одному и по два ребенка... Узнав, что это возможно, она ужаснулась...»)

«Я ставил себе даже вопрос о разводе...» – признался Толстой. Но: «Семейные наши отношения потом сами собой наладились».

Софья Андреевна и после Маши будет рожать детей как прежде. Еще восемь раз. До очевидного духовного, а с ним и домашнего разлада, взаимного непонимания, поисков согласия еще десять лет.

Позже, в конце 1880-х, в «Крейцеровой сонате» Толстой поведает о браке, избегающем детей, без умолчаний, без «точек», открыто, во всю силу проповеди, с которой обратится в ту пору к людям. Свои мысли он передаст для оглашения герою повести – тот рассказывает, как семейная жизнь, устроенная по правилам господствующего, «образованного» класса, сама по себе шаг за шагом ведет к трагедии:

«Она была нездорова, и мерзавцы <доктора> не велели ей рожать и научили средству. Мне это было отвратительно. Я боролся против этого, но она с легкомысленным упорством настояла на своем, и я покорился; последнее оправдание свиной жизни дети – было отнято, и жизнь стала еще гаже... Так прожили мы еще два года. Средство мерзавцев, очевидно, начало действовать; она физически раздобрела и похорошела, как последняя красота лета. Она чувствовала это и занималась собой. В ней сделалась какая-то вызывающая красота, беспокоящая людей. Она была во всей силе тридцатилетней нерожавшей, раскормленной и раздраженной женщины. Вид ее наводил беспокойство. Когда она проходила между мужчинами, она притягивала к себе их взгляды... Узды не было никакой, как нет никакой у 0,99 наших женщин. И я чувствовал это, и мне было страшно»...

В безнравственности семейных отношений отзывается общий нравственный разлад, царящий в мире. По мысли Толстого, забота о нравственном идеале семьи, которая в руках каждого из нас, – может быть, начало общего движения к идеалу. А семейные отношения мужчины и женщины обретают нравственный смысл лишь с появлением детей.

Счастье, которое меня ожидает

«Род человеческий развивается только в семье», – выводит Толстой в лучшие годы своей семейной жизни. Рано оставшись сиротой, он с юных лет мечтает о собственной семье, рисует в воображении сказочные, счастливые картины будущего.

С Кавказа 23-летний юнкер пишет «тетеньке» Татьяне Александровне Ергольской, возле которой прошли его сиротские детские, отроческие и юношеские годы:

«...Я переносу и утомления, и лишения, о которых я упоминал (разумеется, не физические, их и не может быть для 23-летнего здорового малого), не чувствуя их, переносу как бы с радостью, думая о том счастье, которое меня ожидает! И вот как я его себе представляю. Пройдут годы, и вот я уже не молодой, но и не старый в Ясном – дела мои в порядке, нет ни волнений, ни неприятностей; вы все еще живете в Ясном. Вы немного постарели, но все

еще свежая и здоровая. Жизнь идет по-прежнему; я занимаюсь по утрам, но почти весь день мы вместе; после обеда, вечером я читаю вслух то, что вам не скучно слушать; потом начинается беседа.

Я рассказываю вам о своей жизни на Кавказе, вы – ваши воспоминания о прошлом, о моем отце и матери; вы рассказываете страшные истории, которые мы, бывало, слушали с испуганными глазами и разинутыми ртами... Чудесный сон, но я позволю себе мечтать еще о другом. Я женат – моя жена кроткая, добрая, любящая, и она вас любит так же, как и я. Наши дети вас зовут «бабушкой»... Все в доме в том же порядке, который был при жизни папа, и мы продолжаем ту же жизнь, только переменив роли: вы берете роль бабушки... я – роль папа, но я не надеюсь когда-нибудь ее заслужить; моя жена – мама; наши дети – наши роли...

Ежели бы меня сделали русским императором, ежели бы мне предложили Перу, словом, ежели бы явилась волшебница с заколдованной палочкой и спросила меня, чего я желаю, положи руку на сердце, по совести, я бы сказал: только одного, чтобы осуществилась эта моя мечта».

Молодой человек, по-своему мечтающий о счастье, которое его ожидает, не знает, что вся жизнь его вот-вот перевернется, что скоро ему предстоит проснуться знаменитым. В походном чемодане юнкера перемаранные черновики его первой повести – «Детство».

Глава 2

Ящики памяти

Диалектика души

«Детство» начинается с пробуждения главного героя, десятилетнего Николеньки Иртенева, – от его лица ведется повествование.

На первый взгляд, ничего особенного не происходит. Домашний учитель Карл Иванович хлопает самодельной мухобойкой над головой спящего мальчика и будит его. Происшествие и правда ничтожное. Но это внешне, на первый взгляд. Недаром, еще только пробуя силы в литературе, Толстой чутко уясняет нечто самое для него важное: «Интерес подробностей чувства заменяет интерес самых событий»... *Подробности чувства* – вот что с первых шагов кладет он в основание своего творчества.

Неловкий хлопок мухобойки из плотной сахарной бумаги на палке возвращает мальчика от сна к бодрствованию – и это уже событие. В человеке пробуждается сложный, противоречивый мир чувств и мыслей, возникает, возобновляется сложная система отношений с этим миром в себе и с миром вокруг.

Мальчик сердится, что его разбудили, ему кажется, что его мучают нарочно, потому что он младший, маленький, ему противен Карл Иванович с его ватным халатом, вязаной красной шапочкой на голой голове и кисточкой на шапочке. Но Карл Иванович присаживается на постель к мальчику, ласкает и щекочет его, и Николеньке уже досадно, совестно, что он дурно думал о своем добром учителе, и халат, и шапочка, и кисточка теперь кажутся ему необыкновенно милыми. Он боится щекотки, хочет удержаться от смеха – и начинает плакать («нервы были расстроены»). Он плачет, не будучи в силах справиться со сложностью одновременно нахлынувших на него чувств, и на обеспокоенные вопросы Карла Ивановича отвечает неожиданной выдумкой: плачет, оттого что приснилось, будто татап умерла и ее несут хоронить. Теперь ему кажется, что он и в самом деле видел страшный сон, слезы пуще льются из его глаз.

Николенька успокаивается, но дядька приносит обувь – старшему брату сапоги, а ему, маленькому, несносные башмаки с бантиками, и это снова нагоняет на него мрачность. Лишь смешные шутки брата и утреннее солнце, весело светящее в окна, помогают мальчику наконец обрести отличное расположение духа.

С первых строк первой повести мы встречаемся с необыкновенным умением Толстого пронизательно наблюдать внутреннюю жизнь человека, открывать каждое душевное движение, подчас то тайное, сокровенное, что, кажется, невозможно передать в слове.

Первые воспоминания

Накануне пятидесятилетия, 5 мая 1878 года (помета в рукописи), – «на зените своей жизни» – Толстой впервые берется за воспоминания, озаглавленные им «Моя жизнь». Ему хотелось бы – объясняет он – просто выбрать и расположить одно за другим впечатления, оставшиеся наиболее «сильные отпечатки» в памяти.

Первая группа впечатлений озаглавлена: «С 1828 по 1833».

С 1828-го!.. Толстой помнит себя очень рано, может быть, полагает он, почти со дня рождения. Правда, из сильнейших «отпечатков» того, что происходило с ним в младенческом возрасте, в его памяти сохранилось всего два.

«Вот первые мои воспоминания. Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мной стоят нагнувшись кто-то, я не помню кто, и все это в полутьме, но я помню, что двое, и крик мой действует на них: они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (то есть то, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого меня, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы и жалость над самим собою. Я не знаю и никогда не узнаю, что такое это было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдираю руки, или это пеленали меня, уже когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи, собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было и самое сильное мое впечатление жизни. И памятно мне не крик мой, не страдание, но сложность, противуречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и меня мучают. Им меня жалко, и они завязывают меня, и я, кому все нужно, я слаб, а они сильны».

Ученые полагают и каждый знает это по себе, что младенческий возраст забывается. Когда некоторые люди утверждают, что помнят себя с младенчества, их воспоминания вбирают, по-видимому, отзвуки позднейших событий, сопоставлений, рассказов окружающих.

Конечно, в записи Толстого отозвались и дарованная ему природой, а затем развитая в творчестве способность проницательного анализа подробностей чувства, и с детских лет замечаемая в себе непримиримость к насилию, и наблюдения над младенческим возрастом своих детей, и иное, о чем мы можем лишь предполагать. Но в основе первого воспоминания – это чувствуется во всем его строе – подлинное впечатление. Оно не выдуманно, живет в глубинах памяти Толстого. Поставленная им задача, нравственная ответственность затеянного труда – как раз ничего не выдумывать, не сочинять.

«Другое воспоминание радостное. Я сижу в корыте, и меня окружает странный, новый, не неприятный кислый запах какого-то вещества, которым трут мое голенькое тельце. Вероятно, это были отруби, и, вероятно, в воде и корыте меня мыли каждый день, но новизна впечатления отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил мое тельце с видными мне ребрами на груди, и гладкое темное корыто, и засученные руки няни, и теплую парную страшную <сливаемую> воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками».

Толстой удивляется: почему только эти два «отпечатка» остались у него с младенческой поры. «Странно и страшно», что, задумываясь о годах от рождения и до трех-четырех лет, он, сколько не ищет в памяти, не может найти ни одного воспоминания, кроме этих двух. Ведь за это время в его жизни произошло так много важных событий: его кормили грудью и отняли от груди, он учился смотреть, слушать, понимать, начал ползать, ходить, говорить. Именно в эти первые годы он приобретал все то, чем живет теперь, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь не приобрел и одной сотой того.

«Когда же я начался? Когда начал жить?»

Мысль Толстого, по обыкновению, развивается вширь, вглубь, вырывается далеко из пределов поставленной задачи.

«От пятилетнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего – страшное расстояние».

Куда же девается память от этого долгого, отмеченного избытком главнейших впечатлений жизни пути?..

Дневные сновидения

В «Моей жизни» Лев Николаевич рассказал лишь о первых своих впечатлениях – и оставил работу. Вторую часть успел только начать.

Примечательно, что эта часть, озаглавленная «1833–1834», должна была охватить лишь один-единственный год его детства. Здесь смешаны разные краски и оттенки: «Жизнь моя того года очевиднее, чем настоящая жизнь, складывается из двух сторон: одна – привычная, составляющая как бы продолжение прежней, не имевшей начала, жизни, и другая, новая жизнь, то радующая своей новизной и притягивающая, то ужасающая, то отталкивающая, но все-таки притягивающая».

Первые воспоминания 1833–1834-го перекликаются с началом «Детства». Мальчик просыпается уже в комнате старших братьев, с ними учитель-немец Федор Иванович. Толстой не успевает вычленить какое-либо отдельное событие года. Вопреки поставленной задаче «просто», одно за другим, записывать впечатления его (иначе не был бы Львом Толстым) опять увлекает общая мысль. Он пытается установить связь между воспоминаниями и сновидениями.

«Я просыпаюсь, и постели братьев, самые братья, вставшие или встающие, Федор Иванович в халате, Николай (наш дядька), комната, солнечный свет, истопник, рукомойник, вода, то, что я говорю и слышу, – все только перемена сновидения. Я хотел сказать, что сновидения ночи более разнообразны, чем сновидения дня, но это несправедливо. Все так ново для меня и такое изобилие предметов, подлежащих моему наблюдению, что то, что я вижу, та сторона предмета, которую я вижу днем, так же необычно нова для меня и странна, как и те сновидения, которые представляются мне ночью. И основой для тех и других видений служит одно и то же. Как ничего нового – не того, что я воспринял днем, я не могу видеть во сне, так и ничего нового я не могу видеть днем. Только иначе перемешивая впечатления, я узнаю новое».

И там, и тут – по-своему переработанные впечатления, часто одни и те же. Не являются ли, таким образом, воспоминания своего рода дневными сновидениями?.. – задается вопросом Толстой.

Ящики памяти

В одном из писем молодой Лев Николаевич (ему двадцать девять) набрасывает шуточные рисунки устройства памяти. План сверху – «с птичьего полета».

Объясняет: внутри нашего черепа, слева и справа, друг против друга, расположены ряды ящиков. Справа ящики с хорошими впечатлениями и воспоминаниями, слева – с неприятными. Между ними – коридор. Позади ящиков, у висков, расположены пружины: с правой стороны, пружина хорошего расположения духа, слева – дурного.

В нормальном положении в коридор выдвигаются по несколько ящиков с каждой стороны, оставляя проход в коридоре. Соответственно, и наше настроение нельзя обозначить только как хорошее или только как плохое. Впечатления и воспоминания сменяют одно другое, оказываются в различных сочетаниях.

«Когда же, посредством хорошей погоды, лести, пищеваренья и т. п., пожата правая пружина, то все ящики сразу выскакивают, и весь коридор занимается ящиками правой стороны». В этом случае настроение у человека однозначно хорошее. Но бывает и наоборот: дождь, дурной желудок, ясная правда вместо лести «пожимают» левую пружину – и весь коридор загорается уже ящиками с дурными мыслями, впечатлениями, воспоминаниями.

Адресат письма – Александра Андреевна Толстая – родственница и близкий друг Льва Николаевича. Будучи старше его одиннадцатью годами, она прожила долгую жизнь (18 17–

1904), с юных лет оставаясь фрейлиной при дворе четырех (!) российских императоров. Многолетняя переписка Толстого с Александрой Андреевной бесценна для всякого, кто интересуется его жизнью, духовными исканиями.

В письме, излагая свою шутивную «теорию» памяти, Лев Николаевич рассказывает: ярким и холодным осенним вечером он возвращался домой верхом, минувший день выпал удачный, все дела хорошо сладились, он испытывал чувство радости оттого, «что Лев Николаевич жив и дышит, и чувство благодарности к кому-то, что он позволил дышать Льву Николаевичу». Пружина хорошего расположения «пожалась», все правые ящики, среди них и ящик воспоминаний об Александре Андреевне, выскочили в коридор. Потом остальные ящики начали понемногу убираться обратно, но ее ящик почему-то выскочил весь, повернулся, стал поперек коридора и загородил дорогу. И Лев Николаевич весьма долго, пока ехал, брал воспоминания из этого ящика и мысленно писал ей предлинное письмо. Но по возвращении домой надо было срочно рассудить подравшегося с женой мужика, решить вопрос о покупке леса и т. п. – и ящик Александры Андреевны понемногу опять вдвинулся на место... «Одним словом, в этот же день я начал писать вам письмо, но уж не писалось, и я так и бросил его».

Художественный аппетит

В «Анне Карениной» действует интересный персонаж – художник Михайлов. В главах, где мы встречаемся с ним, перед нами открывается важная сторона художественной работы – участие памяти в процессе творчества.

«Его художественное чувство не переставая работало, собирая себе материал», – говорит Толстой о своем Михайлове.

А учитель детей Толстого, близко наблюдавший писателя, свидетельствует: «Он обладал неутолимым художественным аппетитом. Он вечно инстинктивно высматривал пищу для творчества».

Художественная память Толстого работает постоянно и напряженно. Всякая случайная встреча, мимоходом подсмотренная сценка могут одарить его чем-то, без чего, потом окажется, не обойтись. Он, конечно, большей частью и сам не успевает заметить, как схватывает эти впечатления, иногда, кажется, совсем незначительные, как укладывает каждое в какой-либо из ящичков памяти, вроде бы забывает о нем, пока вдруг, в нужный момент, оно не даст о себе знать, не будет извлечено наружу, сопряжено с другими впечатлениями и, переданное в слове, положено на бумагу.

Оказавшись по делам в Москве, он идет в оперу и после пишет жене в Ясную Поляну: «Мне было очень приятно и от музыки, и от вида различных господ и дам, которые для меня все типы».

Любопытный эпизод находим в записках секретаря писателя Гусева: «Как-то я разговаривал со Львом Николаевичем об одном письме, но не мог сразу вспомнить фамилию писавшего. Чтобы вспомнить, я, как обычно делают люди в таких случаях, инстинктивно устремил глаза вниз, сосредоточился и стал напрягать свою память. Это продолжалось только несколько секунд – я вспомнил. Взглянув сейчас же на Льва Николаевича, я увидел, что он пристально смотрит на меня. Ему, как художнику и психологу, было интересно наблюдать, как процесс напряжения памяти отражался на моем лице».

Писатель Александр Иванович Куприн впервые встретит Толстого в Ялте, на пароходе: Льву Николаевичу уже за семьдесят, после года долгой, изнурительной болезни его везут из Крыма домой, в Ясную Поляну. «Он производил впечатление очень старого и больного человека, – вспоминает Куприн. – Но я уже видел, как эти выцветшие от времени, спокойные глаза с маленькими острыми зрачками бессознательно, по привычке, вбирали в себя и ловкую беготню

матросов, и подъем лебедки, и толпу на пристани, и небо, и солнце, и море, и, кажется, души всех нас, бывших в это время на пароходе...»

Читал себя

Всего пристальнее наблюдает он за самим собой.

Молодой, признается однажды в дневнике: «Сам себя интересую чрезвычайно».

Еще «Детство» не начато, еще вообще не решено, изберет ли он своим поприщем литературу, он делает первую попытку: намеревается «написать нынешний день со всеми впечатлениями и мыслями». Так появляется набросок рассказа «История вчерашнего дня».

Событиям дня в рассказе отведено немного места. Главное в нем – внимательное наблюдение над поведением персонажей, прежде всего над своим собственным, попытка поймать, закрепить в слове всякую мысль, всякое чувство и их выражение в речи, движениях, мимике.

Рассказчику хотелось бы передать, что происходит с ним и в нем, пока он проводит вечер в гостях у друзей, мужа и жены, передать так, «чтобы сам бы легко читал себя и другие могли читать меня, как и я сам».

Вот он играет в карты, при этом смущаясь хозяйки, в которую слегка влюблен: «то мне кажется, что у меня руки очень нечисты, то сижу я нехорошо, то мучает меня прыщик на щеке именно с ее стороны».

Хозяйка предлагает играть дальше, мысли рассказчика заняты другим, он не успевает найти нужного ответа, и, почти против воли, произносит короткое: «Нет, не могу». Но: «Не успел я сказать этого, как уже стал раскаиваться». И следом – самое интересное: «То есть не весь я, а одна какая-то частица меня. Нет ни одного поступка, который бы не осудила какая-нибудь частица души; зато найдется такая, которая скажет и в пользу».

Муж приглашает гостя остаться ужинать. «...Я не заметил, что тело мое, извинившись очень прилично, что не может остаться, положило опять шляпу и село преспокойно на кресло. Видно было, что умственная сторона моя не участвовала в этой нелепости».

И тут же – беседа, когда люди разговаривают об одном, а думают о другом, сообщают друг другу свои чувства и мысли, притом, что именно о них не произнесено ни слова. Более того: мысли и чувства, обозначенные словами, тотчас теряют что-то важное, какую-то полноту и цельность, которая присутствует в них, когда они не выговорены вслух. «Я люблю эти таинственные отношения, выражающиеся незаметной улыбкой и глазами, и которых объяснить нельзя. Не то, чтобы один другого понял, но каждый понимает, что другой понимает, что он его понимает и т. д.»

Будущий Лев Толстой ясно заявляет о себе в этой первой попытке.

Глава 3

Знак и признак

Диалектика тела

Писатель Дмитрий Сергеевич Мережковский еще при жизни Толстого скажет, что во всемирной литературе ему нет равного в изображении человеческого тела посредством слова. Но пристальное, «простреливающее» внимание к человеческому телу нужно Толстому для того, чтобы в каждой примете наружности, в каждом движении увидеть характер человека, движения его души.

Умение выразить в слове постоянное взаимодействие внутреннего и внешнего – одно из художественных открытий Толстого, с первой напечатанной повести вознесшее его на вершину русской литературы...

«Толстой с неподражаемым искусством пользуется этою *обратною связью внешнего и внутреннего*», – обозначит Мережковский <курсив Мережковского>. «Диалектика тела» часто сильнее произнесенных человеком слов передает диалектику его души.

Толстой открывает это уже в первых своих произведениях, повестях «Детство» и «Отрочество». Главный герой их, мальчик, подросток, от лица которого ведётся рассказ, отличается тонкой наблюдательностью и знает эту свою особенность.

Вот, войдя неожиданно в комнату, он успевает заметить: старший брат, который лежит на диване и читает книгу, на секунду приподнял голову, чтобы взглянуть на вошедшего, и тут же снова принялся за чтение. Движение самое простое и естественное, но заставляет героя покраснеть. Он угадывает во взгляде брата вопрос, зачем он вошел к нему, а в быстром «наклонении» головы и возвращении к чтению желание скрыть смысл взгляда. «Склонность придавать значение самому простому движению составляла во мне характеристическую черту того возраста», – говорит о себе рассказчик.

В «Детстве» он также оговаривается походя, что следил *за всеми движениями* мальчика, привезенного к ним в гости.

В тяжкую минуту встречи с безнадежно больной мамой он замечает беспокойство отца *по всем телодвижениям*.

И, даже прощаясь с умирающей, – «я был в сильном горе в эту минуту, *но невольно замечал все мелочи*».

Отличие от героя «Детства» Николеньки Иртеньева, помнившего маму и осознанно пережившего горе утраты, Лев Николаевич не помнит матери: когда она умерла, ему не исполнилось двух лет. Странно, но не сохранилось ни одного ее портрета. «Как реальное физическое существо я не могу себе представить ее», – напишет Толстой в старости. И следом: «Я отчасти рад этому, потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и все, что я знаю о ней, все прекрасно...»

В «Детстве» – замечательная страница: вечером, после долгого дня, полного событий и впечатлений, мальчик задремывает в гостиной. В комнате никого, только он и мама. Мальчик почти не видит ее: когда он щурит отуманенные дремотой глаза, пытаясь взглянуть на нее, лицо мамы становится вдруг совсем маленьким, не больше пуговики. Сладкий сон смыкает ему веки, он засыпает, уютно устроившись с ногами в кресле. Он чувствует лишь ее прикосновения. Нежная рука, которую он тотчас узнает, трогает его, и он крепко прижимает эту руку к губам. Чудесная рука проводит по его волосам, слегка щекочет пальцами его шею. Он чувствует, как мама садится рядом с ним, слышит ее запах и голос. Нервы мальчика возбуждены щекоткой,

туманным пробуждением. Он обнимает шею матери, прижимает голову к ее груди. Она берет обеими руками его голову, целует в лоб, кладет к себе на колени: «Смотри, всегда люби меня, никогда не забывай». Она целует мальчика еще нежнее. «Полно! и не говори этого, голубчик мой, душечка моя!» – вскрикивает он, целуя ее колени...

Глава повести так и называется «Детство». Она открывается хорошо известным – «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства!» Воспоминания этой поры, – продолжает Толстой – «освежают, возвышают мою душу».

Самое прекрасное, самое возвышенное воспоминание детства – нежные прикосновения матери, ласкающей его на исходе дня. Каждое из этих прикосновений воспроизведено пронзительно точно, полнится чувством, более того – совершенно соответствует ему.

В глубокой старости Толстой набрасывает однажды на клочке бумаги: «...Сделаться маленьким и к матери, как я представляю ее себе...»

Три движения

В первой главе «Детства» Николенька придумывает, объясняя свои слезы, будто ему приснился страшный сон, что татапа умерла. Саму татапу видим в следующей главе, так и названной «Матапа». Начало главы: мать, сидя у самовара, разливает чай. Одной рукой она придерживает чайник, другой – кран самовара. Вода течет уже через верх чайника на поднос, но татапа, хотя пристально смотрит, не замечает этого, как не замечает, что в комнату к утреннему чаю вошли дети. Она уже знает то, чего они не знают: ей предстоит долгая, непереносимая разлука с ними, – отец намерен нынче же везти их для продолжения учения в Москву. И кажется, она предчувствует то, чего никто не в силах знать: ей никогда не придется увидеть их снова. Толстой в «Детстве» еще не раз возвратится к портрету матери, но этот первый подсмотренный момент у самовара – как знак тональности в начале нотной строки.

Позже – любопытно переданный в движениях разговор за обедом. В дом пришел юродивый, и его тоже посадили обедать в столовой за особенным столиком. Отца это и сердит, и смешит: он не охотник до юродивых, странников, иных божьих людей, к которым расположена душой татапа. Он пытается (и, похоже, не впервые) растолковать ей, что все «эти господа» попросту не желают работать, что полиция прекрасно делает, когда сажает их в тюрьму. При этом он держит в руке пирожок, который просила передать татапа, то слегка протягивая ей, но так, что она не может до него дотянуться, то снова отодвигая руку, чтобы заставить татапу выслушать его. Когда же пирожок, наконец, передан, он, прикрывая с одной стороны рот рукой, как бы желая сказать что-то не для всех, по секрету (этим жестом он обычно предупреждает, что хочет произнести что-то смешное), обращает неприятный разговор в шутку. В главе «Что за человек был мой отец?» будет сказано о «гибкости его правил»: «он в состоянии был тот же поступок рассказать как самую милую шалость и как низкую подлость».

У себя в кабинете отец беседует с приказчиком Яковом о неотложных денежных делах. Яков, преданный слуга, очень заботится о благополучии своего господина и имеет собственное понятие, как преуспеть в этом. Но, крепостной человек, он заговорит тогда лишь, когда ему будет дозволено. А пока почтительно слушает, заложив руки за спину и очень быстро, в разных направлениях шевеля пальцами.

«Чем больше горячился папа, тем быстрее двигались пальцы, и наоборот, когда папа замолкал, и пальцы останавливались; но когда Яков сам начинал говорить, пальцы приходили в сильнейшее беспокойство и отчаянно прыгали в разные стороны. По их движениям, мне кажется, можно бы было угадывать тайные мысли Якова; лицо же его всегда было спокойно – выражало сознание своего достоинства и вместе с тем подвластности, то есть: я прав, а впрочем воля ваша!» На приказания барина отзываются до поры не безразлично-покорное лицо приказчика, а его упрятанные за спину пальцы («по быстроте движений пальцами я понял, что

он хотел возразить»). И, лишь почувствовав, что настало время и дано разрешение высказать несомненное для него собственное понятие, «Яков помолчал несколько секунд; потом вдруг пальцы его завертелись с усиленной быстротой, и он, переменив выражение послушного тупоумия, с которым слушал господские приказания, на свойственное ему выражение плутоватой сметливости, подвинул к себе счеты и начал говорить...»

Выражение сущности

Герои Толстого, как живые, стоят у нас перед глазами. Мы словно не раз встречались с ними в жизни, хорошо знаем их внешность, манеры, привычки, черты характера, особенности поведения. Но, внимательно вчитываясь в текст, заметим, что созданные Толстым портреты написаны очень скупыми средствами. Вместо обширных описаний – лишь несколько подробностей, которых довольно, чтобы полно и выразительно передать отражение «диалектики души» в «диалектике тела». Иногда Толстой как бы навязывает нашей памяти найденную подробность, напоминая о ней, вместо того, чтобы прибавить какую-нибудь новую, но – странное дело! – именно эта найденная подробность воссоздает в нашем воображении образ человека во всем его внешнем (и, соответственно, внутреннем) разнообразии. Она – будто волшебное оптическое стеклышко, сквозь которое открывается целое.

В самом начале «Войны и мира», знакомя читателя с маленькой княгиней, Толстой предлагает характерную черточку ее внешности – хорошенькую, с чуть черневшимися усиками короткую верхнюю губку. Об этой губке писатель напомним едва не всякий раз, когда на страницах романа появится маленькая княгиня. И в последнем ее портрете – она, уже мертвая, после родов лежит на постели – «прелестное детское робкое личико, с губкой, покрытой черными волосиками».

Толщина и красные руки Пьера Безухова, мраморные плечи Элен, маленькие белые руки Наполеона, лучистые глаза княжны Марьи... Толстой, – читаем у Мережковского, – при описании наружности действующих лиц никогда не страдает столь обычными даже у сильных и опытных мастеров, длиннотами, нагромождениями различных сложных телесных признаков: он точен, прост и краток, выбирая маленькие, личные, особенные черты внешности героев и вплетая их в движение событий, в живую ткань действия.

Не верится, но в книге ни разу не назван цвет глаз княжны Марьи (не узнаем мы – опять не верится! – и про цвет глаз князя Андрея, Пьера, Николая Ростова). Глаза у княжны Марьи «большие, глубокие и лучистые (как будто лучи теплого света иногда снопами выходили из них)», у нее тяжелая походка («тяжелые ступни»), в минуты волнения ее лицо покрывается красными пятнами, – вот, пожалуй, и все, что мы узнаем о внешности девушки, которую помним, как реально виденную, наделенную явственными чертами.

Мокрая смородина

Подсчитано: работая над первым портретом Катюши Масловой, героини «Воскресения», Толстой двадцать раз изменял и переделывал небольшой, в несколько строк, отрывок. В итоге от семидесяти намечавшихся в разных вариантах текста, дополнявших и опровергавших одна другую характерных черт ее лица в конце концов осталось только три: очень черные, блестящие, несколько подпухшие, но очень оживленные глаза, колечки выющихся черных волос и лицо той особенной белизны, которая бывает на лицах людей, проведших долгое время взаперти, и которая напоминает ростки картофеля в подвале.

Случается, он трудно и долго ищет нужную деталь, точный образ – единственное слово, в котором выскажется все, что он хочет сказать. Долго не давался ему цвет глаз Катюши.

Однажды, после многих проб и раздумий, он вышел из кабинета в столовую и радостно сказал находившимся в комнате домашним и гостям: «Нашел! – Как мокрая смородина!»

И в самом деле, сколько передалось в этой неожиданной находке. Катюша, еще юная, чистая девушка и такой же юный, чистый юноша Дмитрий Нехлюдов играют в горелки, вовсе и не предполагая, что между ними «могут быть какие-нибудь особенные отношения»: «Катюша, сияя улыбкой и черными, как мокрая смородина, глазами, летела ему навстречу. Они сбегались и схватились руками». В слове и цвет, и юность, и чистота, и разгоряченность игрой и даже роса, упавшая на вечерний луг.

В «Анне Карениной», в главе о художнике Михайлове мы узнаем об исключительно важной особенности его работы. Делая поправки, «он не изменял фигуры, а только откидывал то, что скрывало фигуру. Он как бы снимал с нее те покровы, из-за которых она не вся была видна».

Когда Михайлов работает над портретом Анны, «портрет с пятого сеанса поразил всех, в особенности Вронского, не только сходством, но и особенною красотою. Странно было, как мог Михайлов найти ту ее особенную красоту. “Надо было знать и любить ее, как я любил, чтобы найти это самое милое ее душевное выражение”, – думал Вронский, хотя он по этому портрету только узнал это самое милое ее душевное выражение. Но выражение это было так правдиво, что ему и другим казалось, что они давно знали его».

Первое, что замечает Вронский, увидев Анну – ее блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц глаза. Заметив его взгляд, она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли... Когда все уже решено, когда Анна поняла, что любит Вронского и пути назад для нее уже нет, она неподвижно лежит без сна на супружеском ложе, «с открытыми глазами, блеск которых, ей казалось, она сама в темноте видела».

Бунин в своей книге о Чехове рассказывает: когда больной Толстой находился в Крыму, Чехов собрался навестить его.

«Волновался сильно:...и хотя все время шутил, но все же с трудом подавлял свое волнение.

– Боюсь Толстого. Ведь подумайте, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте. Seriously, я его боюсь, – говорил он смеясь и как бы радуясь этой боязни».

Знак и признак

В молодости Толстой задумывается: не соответствуют ли черты наружности определенным свойствам натуры. Но, работая уже над первой своей повестью, он отказывается от мысли о «постоянном признаке». Даже наоборот. Одна и та же особенность внешности оказывается подробностью портрета очень разных, непохожих людей. Дело не в признаке как таковом, а в том, как он по-своему выявляет характер человека, которому принадлежит.

В «Детстве», например, большой орлиный нос появляется на лице отца Николеньки и учителя Карла Ивановича, маленькими быстрыми шажками ходят отец и юродивый Гриша. В «Войне и мире» маленькие белые руки – у Наполеона и не слишком удачливого русского реформатора Сперанского, благороднейшего князя Андрея и бесчестного поручика Телянина, укравшего кошелёк у товарища-офицера.

И всякий раз мы ощущаем это как художественную необходимость. Всякий раз чувствуем и сознаем, что Толстой не произвольно выбирает для своих персонажей ту или иную внешнюю подробность, что к этому его побуждает обнаруженная им глубинная связь между внешним признаком и внутренней сущностью человека, которому он дает жизнь в своем произведении.

Однажды, приглядываясь к рукам знакомой дамы, гостьи Ясной Поляны, Лев Николаевич пришел в ужас от ногтя на ее большом пальце. Этот ноготь открыл ему нечто, вызвавшее в нем отвращение. Трудно предположить, что он по ногтю угадал характер дамы, тем более, что этой внешней подробности было ему достаточно, чтобы обозначить свое отношение к ней. Скорее, он прежде открыл в ней нечто, что было для него неприемлемо, составил свое представление о гостье, – и теперь злополучный ноготь, благодаря каким-то связям, которых нам не восстановить, которые, может быть, и для самого Толстого остались не вполне ясны, оказался бьющей в глаза внешней черточкой, энергично передающей это неприемлемое, отталкивающее в ее личности.

Нехлюдов в «Воскресении» в тот главный день жизни, когда душа в нем начинает пробуждаться, воскресать, особенно остро ощущает и прежде им замечаемые недостатки внешности его невесты Мисси Корчагиной: морщинки на лице, остроту локтей и, главное, «широкий ноготь большого пальца, напоминавший такой же ноготь отца». Внешние черты отца Мисси, князя Корчагина – его красное лицо, с чувственными, смакующими губами, жирная шея и вся упитанная генеральская фигура также особенно неприятно поразили в этот день Нехлюдова – мы уже знаем, что, будучи начальником края, он отличался жестокостью, сек и вешал людей.

И, хотя позже Нехлюдов скажет, что не верит в наследственность, хотя Мисси по-прежнему «породиста и во всем, от одежды до манеры говорить, ходить, смеяться, выделялась от простых людей не чем-нибудь исключительным, а «порядочностью», что высоко ценил Нехлюдов», мы, встречаясь с ней на страницах романа, уже не в силах забыть этот как бы походя упомянутый широкий отцовский ноготь.

Характеристическая черта

«Я люблю наблюдать руки», – признается Толстой.

Левин в «Анне Карениной» думает о Кити: «Удивительно много выражения в ее руке».

Руки человека, как и лицо, всегда обнажены, их удобно наблюдать. Но, помимо того, в руках, в движениях рук, как в глазах, во взгляде, почти всегда открывается, подчас выдает себя важная внутренняя сущность – побуждения, страсти, пристрастия и привычки, разнородные следы проживаемой жизни.

Толстой называет руки «характеристической чертой» личности.

Это сказано на одной из страниц «Юности», в главе «Нехлюдовы». Здесь даны портреты домашних Дмитрия Нехлюдова, с которым близко подружился главный герой повести Николенька Иртенъев. Руки на портретах в самом деле подсказывают что-то значимое в характеристиках всех, кто проходит перед нами в этих семейных сценах. Большая, почти мужская, с прекрасными продолговатыми пальцами, без колец, рука матери. Такие же большие, как у матери, и белые руки самого Нехлюдова. Чрезвычайно нежная и красивая рука сестры Дмитрия. Коротенькие толстые ручки их тетки, сестры матери. И при этом, как бы связывая всех их воедино, – «родовой» признак: «У них у всех была в руке общая семейная черта, состоящая в том, что мякоть ладони с внешней стороны была алого цвета и отделялась резкой прямой чертой от необыкновенной белизны верхней части руки». Лишь у очень дальней родственницы, почти приживалки, в которую влюблен Дмитрий и в которой желает видеть то, чего в ней нет, «родовой признак» отсутствует: руки у нее, хотя и небольшие и недурной формы, но красны и шершавы.

Иногда руки совершенно точно сопрягаются с внешним и внутренним образом персонажа, с тем, во всяком случае, каким он представляется автору или герою, которому он поручает вести рассказ.

Там же, в «Юности», на вступительных экзаменах в университете встречаем гимназиста, который все предметы сдает лучше остальных. В его быстро и точно набросанном портрете

главное внимание отдано рукам: «Это был высокий худощавый брюнет, весьма бледный, с подвязанной черным галстуком щекой и покрытым прыщами лбом. Руки у него были худые, красные, с чрезвычайно длинными пальцами, и ногти обкусаны так, что концы пальцев его казались перевязаны ниточками. Все это мне казалось прекрасным и таким, каким должно было быть у первого гимназиста».

Но бывает и наоборот: именно руки помогают неожиданно увидеть, понять в человеке нечто такое, что не подозреваем в нем.

С первых страниц «Войны и мира» читателя по-своему привлекает храбрый офицер и знаменитый кутила Долохов, с его лихим бесстрашием в бою и разгуле, дерзкой независимостью, неколебимым чувством собственного достоинства. На страницах романа несколько раз возникают выразительные портреты Долохова, но руки до поры «припрятаны».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.